



Фёдор Страхов

**О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТОЛСТОГО
КАК ПИСАТЕЛЯ-ХУДОЖНИКА,
МЫСЛИТЕЛЯ-ФИЛОСОФА
И ЧЕЛОВЕКА-ПРАВЕДНИКА.**

(ИСТОЧНИК:

Голос Толстого и Единение и Истинная Свобода.

— Соединённый выпуск журналов,

посвящённый 10-летию смерти Л.Н. Толстого.

— М., 1920. — С. 18 - 22)

Трудно найти человека, который обладал бы такой всеобъемлющей душой, как Л. Н. Толстой, п<отому> ч<то> нет той стороны жизни, нет той отрасли человеческой духовной деятельности, которая не нашла бы в нём своего отражения и так или иначе не была бы затронута в его писаниях; нет того

характера, того типа человеческого, который не был бы воспроизведен Толстым в его художественном творчестве.

Но из того, что люди были так близки к Толстому, не следует, чтобы и он был всегда одинаково близок и понятен всем нам. Он-то обладал необыкновенным, божественным даром переноситься в другого человека, понимать его в сокровеннейших движениях его души, но мы-то далеко не одинаково способны понимать его, и поэтому каждый из нас часто подходит к Толстому лишь с той стороны, с какой он доступен его пониманию.

И вот я хочу здесь попытаться наметить в общих чертах те стороны души Толстого, через которые люди разного образа мыслей имеют к нему доступ и благодаря которым могут более или менее понимать и ценить его.

Мы признаём в Толстом или порознь, или в том или ином сочетании, следующие стороны его души. Он для нас является либо ПИСАТЕЛЕМ ХУДОЖНИКОМ, либо МЫСЛИТЕЛЕМ МУДРЕЦОМ ФИЛОСОФОМ и в связи с этим религиозным реформатором пророком, либо, наконец, ПРОСТО ЧЕЛОВЕКОМ, стремившимся так или иначе к доброй и праведной жизни.

Но кем был для нас ни являлся Толстой, какую бы из указанных трёх сто-

19

рон мы в нём ни признавали, отрицая остальные, они всё-таки существуют в нём ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ и в каждую из них он внёс специфические особенности, в каждой ярко и резко проявил присущие ему одному отличительные черты, существенно отличающие его от всех других писателей художников, мыслителей-философов и людей праведников.

Посмотрим же, в чём выразились в Толстом эти характерные для него особенности.

I. Главная особенность Толстого, как писателя-художника, — в том, что, несмотря на то, что он обладал громадным,

превзошедшим всякую обычную меру, талантом, он, как человек, всё-таки БЫЛ ВЫШЕ СВОЕГО ТАЛАНТА. И вот эта-то, по-видимому, мало значущая особенность Толстого, как писателя, на самом деле имела огромное значение для всех его произведений и преимущественно для художественных. Особенность эта — в том, что мощный дух Толстого отразился в его художественных произведениях необыкновенным богатством их идейного содержания, — богатством, выразившимся в том, что главные герои этих произведений были неутомимыми искателями истины и смысла жизни. Правда, благодаря этой своей особенности, Толстой нередко подвергался упрекам в так называемой тенденциозности; но, если мы будем понимать тенденциозность не в ходячем, а в правильном значении этого слова, по которому необходимо строго отличать её от истинной идейности, то увидим, насколько эти упреки были несправедливы

именно по отношению ко Л. Н. чу.

Ведь что такое ИДЕЙНОЕ художественное произведение? Это такое художественное произведение, в которое вложено известное нравственное содержание, причём содержание это вполне гармонирует с воплощающей его художественной формой, т. е. находит в ней соответствующее себе полное воплощение.

ТЕНДЕНЦИОЗНЫМ же произведение будет тогда, когда гармония эта будет в нём нарушена в смысле перевеса сухого замысла над воплощающей его живой формой. Тенденциозность в истинном значении этого слова — это, так сказать, видимость, оголённость авторского замысла из-под плохо воплощающих его образов, совершенно подобная оголённости проволочного каркаса из-под цветов и тканей, которые должны его покрывать.

При таком определении понятия тенденциозности ясно, что Толстой был свободен от упреков в ней. Владея в неподражаемом совершенстве художественной формой, в которую он облакал свои мысли и литературные замыслы, Л. Н. никогда не позволял себе искусственно навязывать их своим читателям, а всегда достигал того, что они

воспринимаюсь ими как естественные, самостоятельные и притом невольные выводы из прочитанного.

Вот в каком смысле Толстой был застрахован от упреков в тенденциозности в истинном значении этого слова. Что же касается тенденциозности в обычном, ходячем смысле, то я охотно признаю, что Толстой был гораздо менее свободен от неё, нежели многие талантливые писатели, стоящие ниже своего литературного дарования. У этих представителей чистой эстетики каркас идейного содержания действительно никогда не выступает из-под обильных цветов художественных образов; но это не потому, чтобы эти образы были полным, живым воплощением своего идейного содержания, а по простой причине мизерности или даже полного отсутствия каркаса, т. е. внутреннего содержания. Само собой разумеется, что заслуги в таком свободном от тенденциозности художественном творчестве так же мало, как, например, в отсутствии близорукости у слепых или хромоты у безногих. И, разумеется, Толстой чужд был такой отрицательной заслуги. Положительная же главная заслуга и особенность Толстого, как писателя и художника,— в том, что при указанном преобладании в нём человека над писателем-художником, он всё же благодаря громадному дару художественного изображения, избежал тенденциозности в истинном значении этого слова.

II. Перейду теперь к определению особенности Толстого как мыслителя философа. Вряд ли найдутся теперь люди, которые не признавали бы Толстого за

20

мыслителя, искателя правды и смысла жизни; весьма многие признают его за мудреца, даже пророка, но вместе с тем очень многие не признают его за философа в общепринятом значении этого слова. Почему это? Потому что у Толстого не было философской системы, не было выработано так называемой философемы. Действительно, Толстой никогда не занимался составлением философской системы. И вот когда я

раз обратился к нему с заявлением, что за это отсутствие системы его не считают настоящим философом, он сказал мне на это следующее:

— А я считаю себе за достоинство как раз то самое, что мне вменяется в недостаток.

— Как так?— удивился я.

— Ведь эти патентованные философы что делают, — продолжал Л. Н. — они во что бы то ни стало задаются целью построить свою собственную систему, даже не позаботившись предварительно о том, хватит или не хватит у них на неё материала. И благодаря этому с ними случается то же самое, что с плохими каменщиками, которые принялись бы класть свод известной величины, не позаботившись заранее припасти нужное для этого количество материала. В конце концов у них не хватает камней, и они чего только не напихивают в пустующие промежутки своего свода. Так и наши философы, Бог знает, чем заполняют пустующие промежутки своей заранее принятой схемы. Нет, Бог с ней со схемой! Она бы меня стесняла, не давала бы работать. Ведь нужно только одно: серьёзно и искренно мыслить, а стройность и цельность,— то, что называется системой, сами собой приложатся при этом. Если же не всё до конца будет мною продумано, если окажутся пробелы в своде, — это не беда. Бог даст, заполнятся и они, — если не мною, то другими мыслителями, описывающими окружность свода из того же центра и тем же радиусом.

Вот какое серьёзное значение придавал Л. Н. выражению мыслей, хотя бы и в цельных сочинениях, но именно вне философских, заранее составленных систем. Оно и понятно, что ему, как великому художнику и свободному мыслителю, претила всякая программа, всякое предначертание, как в самой жизни, так равно и в литературном творчестве.

«Не клянись, не обещайся, не связывай свою волю вперед, ибо ты не можешь предначертать направление своего духовного роста», — предостерегал он человека, склоняющегося подчиниться общественным требованиям.

«Не пиши философских систем, этих искусственных построений с придуманной связью между частями и часто явными отступлениями от истины ради соблюдения стройности целого учения», — говорил он в назидание всем современным и будущим философам и мыслителям.

Но, при всём своём ясном нерасположении к искусственным философским системам, Л. Н. тем не менее НЕ БЫЛ САМ ЧУЖД ИСТИННОЙ, **ВНУТРЕННЕЙ** И ПОТОМУ НЕ СРАЗУ ЗАМЕЧАЕМОЙ СИСТЕМЫ, т. е. такой, в которую у серьёзно, искренно и свободно мыслящего человека мысли сами собой, как химические элементы в кристаллы, стройно складываются в определённые формы. И в такую внутреннюю, стройную систему сами собой складываются все мысли Л. Н-ча, как бы отрывочно-разрознено они ни были им высказаны. Причина этого свойства мыслей Л. Н-ча кроется в том, что он все силы своего мышления направлял на построение цельного и стройного мирозерцания, благодаря чему все его мысли, как радиусы одной окружности, исходят из одного центра.

Вот в чём состояла особенность Толстого как мыслителя философа.

III. Остаётся ещё сказать несколько слов об особенностях Толстого как человека.

Насколько, как мы видели выше, люди склонны незаслуженно упрекать Л. Н-ча; КАК ПИСАТЕЛЯ, — в тенденциозности его художественных произведений, КАК МЫСЛИТЕЛЯ — в несистематичности его философского мышления, настолько же люди склонны были его, КАК ПРОСТО ЧЕЛОВЕКА подвергать упрёку в ПРОТИВОРЕ-

ЧИИ СЛОВА С ДЕЛОМ, — упрёку, столь близкому к сомнению в искренности его стремлений к доброй и праведной жизни.

Обоснованием для этого упрёка, как известно, послужило больше всего то, что он, высказываясь в большинстве своих последних писаний за простую, трудовую жизнь, за жизнь по

принципу „трудами рук своих“, тем не менее почему-то продолжал жить в привычной ему барской обстановке. Одним словом, его, как человека, обвиняли в противоречии слова с делом,— обвиняли в том, что он говорит одно, а делает другое.

И действительно, для человека, наблюдавшего жизнь Л. Н. со стороны, для человека, непосвящённого в интимную жизнь Л. Н. и, главное, незнакомого с религиозно-нравственным его миросозерцанием, это противоречие могло казаться явным признаком его неискренности и даже фарисейства.

Для человека же, хоть несколько знакомого с интимной стороной жизни Л. Н., а главное, разделяющего его религиозно-нравственное миросозерцание, во 1-х, не может не быть понятно некоторое неизбежное РАСХОЖДЕНИЕ живого и потому движущегося, совершенствующегося сознания с отстающими от него мёртвыми формами жизни, и во 2-х, должно быть известно отрицательное отношение Л. Н. к обычной склонности людей, привыкших жить только своей земной временной жизнью, — т. е. только в прошедшем и будущем, а не в настоящем, — к склонности таких людей приписывать слишком большое значение внешним условиям и обстоятельствам этой жизни, а главное, придавать первенствующее значение ВНЕШНЕМУ ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ФОРМ ЕЁ при попытках её улучшения, совершенствования. Требуя от человека направления всех его духовных сил на внутреннее, нравственное его изменение, вытекающее из духовного совершенствования, Л. Н. верил, что надлежащую ценность будет иметь такое внешнее изменение формы, или устройства жизни, которое будет естественно и потому неизбежно вытекает из этого ВНУТРЕННЕГО изменения. Всякие же внешние приёмы переустройства как частной, так и общественной жизни, вытекающие из искусственных, чисто рассудочных решений и предписаний, не только не желательны, но ещё и вредят истинному духовному росту человека, а также общественному прогрессу.

Вот что мы находим по этому вопросу у Л. Н. ча в одном из его писем к человеку, обвинявшему его в вышеуказанном противоречии слова с делом.

«Обыкновенно человек, — пишет Л. Н., — познав истину, застаёт себя в известном, далеком от этой истины, мирском положении, в связях, узлами завязанных и мёртвыми петлями, нашими грехами затянутых с людьми мира. И человеку, познавшему истину, прежде всего представляется, что главное, что он должен сделать, состоит в том, чтобы сейчас же, во что бы то ни стало, выйти из тех условий, в которых он находится, и поставить себя в такие условия, находясь в которых ясно видно было бы людям, что я живу по закону Христа, и жить в этих условиях, показывая людям пример истинной христианской жизни.

Но это не так; требования совести не состоят в том, чтобы быть в этом или другом положении, а в том, чтобы жить, не нарушая любви к Богу и ближнему. Но всякий христианин, среди мирских людей, находится в таких условиях, что для того, чтобы ему приблизиться к этому положению, ему надо прежде распутывать узлы своих прежних грехов, которыми он связан с людьми, и потому главная и первая задача его — в том, чтобы по закону любви к Богу и ближнему распутывать эти узлы, а не затягивать их, и, главное, не делать больно тем, с кем он связан.

Дело христианина не в каком-нибудь известном положении: в положении земледельца, монаха и т. п., а в исполнении воли Бога. Воля же Бога — в том, чтобы во всяком положении, на все требования жизни отвечать так, как того требует любовь к Богу и людям. И потому определять близость или отдалённость себя или других от идеала Христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек, а по степени его усилия осуществления закона Бога.

Важно не положение, в котором находится человек, а те поступки, которые

привели его в то положение, в котором он находится; судьёй же в этих поступках может быть только он сам и Бог.

Но скажут: «поэтому человек, исповедуя христианское учение, может, под предлогом того, что он не хочет оскорбить близких людей, продолжать жить греховной жизнью, оправдывая себя мнимой любовью к Богу и ближнему'». Да может, но точно так же может, как и человек, который, устроив себе безгрешное (или кажущееся ему таковым) положение земледельца, монаха, может жить в нём только для того, чтобы хвалиться этим положением перед людьми. В том и другом случае суждение невозможно, и в том и другом случае опасность одинакова. Для первого опасность в том, что, продолжая жить ради любви к людям в мирских условиях жизни, соблазняешься этими мирскими условиями и пользуешься ими не потому, что не можешь иначе, а по своей слабости, это я испытываю часто; для второго опасность — в том, что, поставив себя сразу в те условия жизни, которые считаешь праведными, живёшь в этих условиях, не стараясь идти вперёд к совершенству любви, а гордясь своим положением, презирая и не любя всех тех, которые не находятся в этом положении; испытывал я и это, только не так часто.

Путь — узкий в обоих случаях, и знает о том,— стоит ли он на пути, только тот, кто идёт, и Бог».

(Из писем, 6 февраля 1890 г.).

Как видите, письмо это даёт глубокое и верное объяснение тех причин, по которым Л. Н. не только не торопился произвести во что бы то ни стало внешнее изменение своей жизни, но ещё и осуждал такие поспешные изменения, когда они предпринимались другими людьми. В письме этом ясно выражены те веские соображения, которые заставляли Л. Н-ча колебаться между двумя, взаимно исключающими друг друга, равно обязательными для него, требованиями: требованиями любви к семье и долгом слезть с шеи народа, на которой всею своею тяжестью лежал материальный избыток барской жизни этой семьи. Вот те нравственные колебания, которые заставляли весы совести Л. Н-ча долгие годы держаться в

горизонтальном положении, не давая перевеса ни в ту, ни в другую сторону.

И наличие этих нравственных колебаний Л. Н-ча и отнимает всякое основание к сомнению в его искренности и уничтожает малейшую тень к подозрению его в лицемерии или фарисействе. А раз не было у Толстого ни лицемерия, ни фарисейства, а было одно только искреннее желание, наилучшим образом познав волю Божью, исполнить её, то какое же может быть основание НЕ ПРИЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРАВЕДНИКОМ только потому, что эта его праведность выразилась не в обычной шаблонной форме поспешного изменения внешних условий жизни, а в тяжёлом, длительном подвиге его жизни, вытекавшем из трагизма его колебания между долгом перед семьёй и перед народом.

Нет, Толстой был ИСТИННЫЙ, великий ПРАВЕДНИК, не смотря на противоречие между жизнью и сознанием или, скорее, благодаря этому, мучившему его, противоречию.

Толстой был ИСТИННЫЙ и великий мудрец и ФИЛОСОФ, несмотря на отсутствие у него общепринятой философской системы.

И, наконец, Толстой был истинный ИДЕЙНЫЙ и великий ПИСАТЕЛЬ-ХУДОЖНИК, несмотря на кажущуюся многим тенденциозность его художественных произведений.
